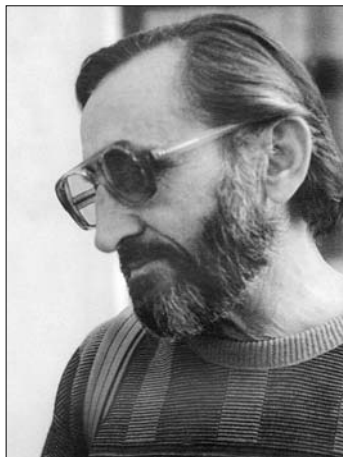


ЮРИЙ УБОГИЙ



ЖЕЛЕЗО И ОБЛАКА

ПОВЕСТЬ

Пятигорск, здание фарминститута серое, с окнами громадными. И я перед ним стою, войти почему-то медлю. Поступать сюда приехал из такого своего далёкого-далёкого, крохотного Тима. Учиться всерьёз в институте я не собираюсь, а хочу писателем стать в свободное от учёбы время. Думаю, что пяти-то лет вполне для этого хватит.

Вестибюль института полон одними нарядными девицами, и я ощущаю мгновенный ожог стыда. Понимаю, конечно, что это заведение девичье в основном, но не до такой же степени! Присмотревшись, замечаю всё-таки одного парня, второго, третьего...

Мне предстояли не экзамены, а собеседование как медалисту, и оно оказалось не то, чтобы простым, а примитивным, как если бы попросили назвать химическую формулу воды или кислоты серной. И всё, и ты студент, с чем тебя и поздравляют... Меня это скорее оскорбило, чем обрадовало. Видно, и самому институту такая же цена, как и собеседованию, — так, примерно, подумалось. Но ведь не всерьёз же я, в конце концов, учиться здесь на провизора собираюсь! Меня комната с письменным столом и настольной лампой ждёт в доме дяди Вани! И от девиц как-нибудь отторожусь, не съедят, авось...

В институте всё выглядело ненужным, далёким, чужим — и лекции по какой-нибудь ботанике, и практические занятия с пробирками, колбами и жидкостями разноцветными...

УБОГИЙ Юрий Васильевич родился в 1940 году в селе Красная Поляна Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Более 20 лет работал психиатром и психотерапевтом. В "Нашем современнике" публикуется с 1978 года. Автор 12 книг прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Калуге.

Девиц я сторонился, а несколько парней на целом курсе казались какими-то отталкивающе женоподобными. Лишь с горбатым пареньком получалось иногда поговорить — умным вполне паренёк оказался...

Дома было не лучше. Дядя Ваня, одинокий вдовец, живший в просторном доме, похоже, намечтал себе какого-то идеального племянника, с которым будет жить он душа в душу, а получил угрюмого парня, от которого слова не добьёшься. Да и сам он по характеру оказался очень тяжёл, с явными признаками домашнего деспота. Не удержавшись, я однажды сказал ему об этом, после чего мы не разговаривали несколько дней.

Главная же заманка — отдельная комната — тоже меня не радовала. Сколько я ни садился за стол при свете настольной лампы перед чистым листом бумаги — ничего из этого не получалось. Или ни слова, или какой-то полубред, писавшийся от одного лишь отчаяния.

В самые тяжёлые минуты я выходил во двор, стоял подолгу, глядя на близкий, рукой подать, Машук, и представлял себе то домик, в котором жил Лермонтов, то место дуэли его и смерти. Думал даже о крови, им пролитой, частицы которой, хотя бы в виде атомов, должны были в земле сохраниться. Порой мерещилось даже, что я помощи какой-то оттуда, с той стороны жду...

* * *

Хожу взад-вперёд по мосту через речку Подкумок в ранних сумерках и решаю, как мне жить-быть дальше. Чувство человека, попавшего в западню, испытываю. Меня всё тут, в Пятигорске, мучает, и терпеть это всё тяжелей.

Сваренные из труб перила моста теплы, шершавы и царапают кожу ладони на швах сварки. Подкумок шумит уныло, мутная вода его загнанно мечется среди серых камней. Берега замусорены, горы вокруг черны, тяжелы, и я чувствую, что даже здесь, на самой, казалось бы, воле, я тоже словно в западне. А ведь как правилось всё сразу по приезде: пять гор вокруг, город чудесный, Кавказ, Лермонтов... Теперь же во мне словно свет переключили, и всё видится мрачным, отталкивающим, угрожающим даже...

Хожу я, хожу и вдруг понимаю, что решение есть, что оно несколько уже дней живёт во мне, только я на него опасноливо глаза закрываю. Надо всего-навсего бросить этот фарминститут дурацкий и уехать.

В те годы Сибирь из пугала превратилась в землю обетованную. Кто только туда ни ехал — молодёжь по комсомольским путёвкам и без них, искатели “длинного рубля”, да и просто люди с неустроенной или вдруг развалившейся жизнью. И так сильно этот зов “в Сибирь!” звучал, что застревал в душах людских надолго.

* * *

В институте я проучился недели три и уехал домой. Резкий поступок, первый такой в жизни. Говорят: “Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть”. Хорошо звучит, только приложимо это скорее к первой половине жизни. А во второй всё, пожалуй, наоборот: “Лучше не сделать и пожалеть, чем сделать и пожалеть”. Не сделаешь — и останешься при прежних, как-то всё-таки уравновешенных, терпимых обстоятельствах, а сделаешь что-то крутое, меняющее жизнь, — вполне можешь под откос загреметь. Так опыт житейский говорит, консервативная его мудрость...

Чего перед смертью вдруг очень жалко станет, не угадать. Пушкин с книгами, как с друзьями, нежно простился, так и сказав: “Прощайте, друзья”. Толстой больше всего земного музыку жалел. Герой же рассказа Леонида Андреева “Жили-были”, умирающий в больнице дьякон, горько плакал о яблоне “белый налив”...

А мне сейчас сосны неожиданно вспомнились на высоком берегу нашей Калужки. Три, стоящие рядом сотни полторы лет. Одна — прямая, как

стрела, корабельная, высоченная, верхушкой небо достаёт. Вторая — покосившаяся, прогнутая так круто, что, кажется, не стоит она, а летит куда-то под ветром. И третья — самая могучая, разделяющаяся на три равных почти ствола, смотрящихся друг в друга. Лучше всего видеть сосны снизу, от речки, с их телесного цвета стволами и тёмно-зелёной хвоей, сквозь которую проступает местами небесная, особенно яркая в окружении зелени, иконописная словно бы, божественная лазурь...

* * *

В Сибирь я не поехал, матушку пожалел. Да и впрямь — сынок невесть почему институт вдруг бросил, а теперь в Сибирь страшную собирается. Многовато для неё получалось. Остаться же дома, чего она и хотела, я не мог никак. Позорным для нас это было в те времена, “западлю”, как теперь говорят. Сошлись на Воронеже, где жила её давняя и близкая подруга — Ефросинья Степановна Бурцева, — остановиться на первый случай будет где. Генка, друг, в мединститут не поступивший, согласился вдруг составить мне компанию, и это сильно облегчало дело. На том и порешили — в Воронеж, на завод. Послабее, чем “в Сибирь!”, звучало, но и не плохо совсем. Можно и там жизнь узнавать, не в одной же Сибири она есть. А то, что она есть и в посёлке нашем, как-то и в голову не пришло...

* * *

Станок мой токарный был ДИП-200. Расшифровывалось так: “догнать и перегнать”. Капиталистов, в смысле. Впрочем, не уверен, что так это официально было, может, народная придумка всего-навсего.

От работы помнится переключение режимов и, самое главное, чудесное прямо-таки: первый, черновой проход резца по заготовке. Вот она, заготовка-болванка — чёрная, с синеватым отливом, шершавая, тяжёленькая такая и этим особенно почему-то значительная, приятная даже. Сильно облегчит её обработка, в несколько, может, раз. Врубил обороты (до 1200 в минуту) и повёл к заготовке резец. Она чуть даже туманной кажется от скорости вращения, и миг прикосновения к ней резца довольно долго казался мне чем-то совершенно особенным и опасным. Сталь на сталь идёт, как в атаку, — не шутка! Вот встретились они, заготовка с резцом, стружка пошла-взвилась, и полоска первая, начальная обточенной стали обозначилась. Такая безусловно чистая, гладкая, яростно сверкающая. Шире, шире она, вот уже и до конца заготовки, до зажимов патрона почти доходит, и надо переключаться и начинать второй заход. А потом по чертежу деталь вытачивать, порой и просверливать насквозь... А вот уже и деталь готовая в руках, и чувство, что ты не на станке, а своими буквально руками её, такую красивую, серьёзную, важную сделал.

Микрометр был хорош, кронциркуль, набор резцов, брусков стальных с небольшими, впаянными в их торец пластинками победита. Это сталь такая была особенно крепкая, потому другие виды сталей и резала.

Перед всеми станками под ногами станочников были деревянные решётки, и я удивлялся — зачем они? А недавно совсем услышал на рынке, как пожилая продавщица, обувь продающая, пожаловалась кому-то: асфальт ноги высасывает. И вспомнил то, полувековой уже давности, удивление своё и подумал, что заводские решётки, возможно, для того и лежали: чтоб ноги не высасывало...

* * *

Голоден я был постоянно. Даже после еды самой обильной голод оставался, но утолить до конца его было невозможно, в глотке уже еда стояла. Особенно тяжело было вечерами, а держать постоянно дома еду, хлеб хотя бы, мы как-то не умели. Часто бывало, что, голодный, я пытался побыстрее заснуть, мечтая о заводской столовой завтра утром. Думал, два вторых

закажу и два салата в придачу. Генка же очень странно завтракал: одним киселём с хлебом. Брал до десяти стаканов киселя, ярко-алого такого, очень густого, выстраивал их перед собой в ряд и нырял в них надолго.

Столовая была метрах в трёхстах от проходной, и в обеденный перерыв устраивались ежедневные гонки. У турникета собиралась компания быстроногих молодых пареньков-мужичков, ожидала гудка и “рвала” к столовой — очередь занимать. А к занявшему очередь подходило потом несколько приятелей по цеху. И никто при этом не протестовал, в обычае такое было. Вот и получалось, если кто-то из “своих” добежал быстро, то многим этим быстрый обед обеспечил и время свободное потом: побазлать (поболтать), в шашки-шахматы сыграть, подремать даже.

В первый раз, попав в команду “бегунов”, я прибежал в числе первых, а потом стал постоянно почти гонки эти выигрывать. Приятно было и пробежаться с ветерком, и цеховым своим знакомцам удружить.

А еда была — лучше быть не может, да и не было потом, пожалуй, за целую жизнь. Всё же остальное: духота, запах густейший, чадный, затоптанный кафель под ногами — всё это не только не тяготило, но приятным казалось, как некая обязательная добавка к еде. Соус такой.

Была столовая и рядом с нашим домом, полуподвал такой мрачнейший. Но и туда было приятно заходить и стоять в очереди, и удивляться высокому, тощему, серолицему повару, раздающему блюда: столько шамовки кругом, а он тощий. Да, ещё ведь посылки с едой из Тима, несомненно, были, но их как-то я не помню. Вот из студенчества они помнятся так, словно последнюю получил вчера...

Молодой тот голод воспринимался шире, объёмнее голода телесного, желудочного, душу захватывая, сливаясь с ней. Она, душа, видать, и голодала по жизни иной...

* * *

Генка, мой друг с детского ещё сада и потом сорок целых лет, был человек удивительный. Никогда я не слышал от него осуждения или отрицательной оценки кого-нибудь. Предел, на котором он останавливался, были слова: “Да ну его!” И всё, и точка. Вот истинно христианская черта, хотя он, конечно, в Бога не верил.

Работал он только в первую смену, и поэтому мы “совпадали” на одну неделю из трёх. Учился ремеслу в другом цеху на слесаря и про учителя своего отзывался одобрительно, и дедом его называл. Раз только пожаловался на то, что тот рукавицы у него отнял со словами: “В штанах не е....., в рукавицах не работа”.

А делал он всё одно и то же, как ни спросишь: станину шабрил, до максимально возможной плоскостной ровности её доводил, снимая лишнее с металла чем-то вроде особой стамески — шабром. Это у нас даже привилось на какое-то время. Говорили о каком-нибудь надоевшем, однообразном занятии: “Кончай шабрить!”

Как же тяжело было уходить на работу в ночь, одеваться, поглядывая на лежащего в кровати Генку. А он глаза при этом отводил, неловко, наверное, было оттого, что остаётся дома, в кайфе. Но, как ни мучила меня трёхсменка, мысль перейти на другую, односменную работу мне и в голову не приходила. Уверен был почему-то: куда поставили, там и стой. От общей атмосферы тогдашней такая уверенность исходила. Атмосферы не свободы выбора, а долга. Да и в слесаря никак не хотелось, что-то в этой профессии чудилось очень уж обычное, бытовое. То ли дело станок-станочек...

* * *

Наступил и экзамен на разряд, в кабинете начальника цеха, закутке таком застеклённом. И комиссия была — начальник цеха, мастер, нормировщик и ещё кто-то, мне не ведомый. Экзаменующихся двое — я и Сашка,

так, кажется, — паренек сельского вида, рыже-конопатый. Ну, и учителя: мой — Николай, а Сашкин — Карасёв. “Карась”, конечно, по прозвищу. Этого Карасёва я с самого начала работы заметил, не типичный он был какой-то работяга. Важно-задумчивый, говорящий мало, но особенно веско, точно, с взглядом умным и очень спокойным. Как профессор, думалось, хотя откуда я мог знать, какие они, профессора...

Начальник цеха был серолицый, замученного, болезненного вида человек, время от времени нервно дергавший одним плечом. Работа, что ли, так его замучила, думал я. А через несколько лет узнал, что заводские люди делятся на две категории, две породы. Одни “болеют” за производство, а другие нет. Так прямо и определялось дословно: вот этот “болеет”, а вот этот — нет. Вполне понятное психологическое разделение, не одного завода, разумеется, касающееся и существующее, конечно, и теперь. Одни, к примеру, “болеют” за Россию, а другие нет...

Получили мы с Сашкой по третьему разряду, хотя Николай предлагал дать мне четвёртый. Решили, что нехорошо нас разделять и пусть уж будет обоим третий. Николай мне такое рассказал, решали-то, естественно, без нас. Это меня приятно кольнуло и забылось тут же.

Да, о мастере два слова. Молодой и очень приятный был мужик, морячок, как и Николай, в недавнем прошлом. Так и ходил по цеху в матросском бушлате, что очень ему шло и мне нравилось. Глаза его хорошо помню — карие и горячие. Вот он тоже за производство болел, похоже. Года через четыре оказались мы за соседними столиками в ресторане. И разговаривал он с приятелем именно только о производстве. И в вечернем институте учился. Меня, скорей всего, не узнал.

* * *

Самостоятельная, наконец-то, работа оказалась поначалу тяжела. Просто отстоять у станка восемь часов безотрывно нелегко, а надо ведь ещё и внимательным безотрывно быть, и действовать точно и быстро. Да и над чертежами думать, прикидывать ход дела, решать. Облегчение я, в конце концов, нашёл, и оно было на первый взгляд парадоксальным. Надо как можно лучше, точнее, быстрее работать — вот тогда будет и легче. Тогда азарт появляется, интерес, игра какая-то с самим собой и обстоятельствами работы. И вот при такой, на пределе возможностей, работе усталость замечается гораздо меньше, а иногда и совсем исчезает. Одно остаётся, горячее, напористое: давай, давай, давай! По этому поводу и школьная учёба вспомнилась, и правило, которое я осознал классу к пятому: хорошо учиться гораздо легче, чем плохо. А отлично — совсем легко.

Небольшим огорчением-недоумением было то, что заработок оказался мало зависим от того, сколько ты сделал. Какая-то там у нормировщиков, учётчиков, мастеров была своя система, по которой некий средний, тебе примерно положенный заработок начислялся: по разряду, по возрасту, авторитету, по отношениям с начальством. Самым главным было “хорошо закрыть наряды” за месяц. Вот вокруг этого и хлопотали. И Николай в такие дни бывал то угрюмым, то весёлым. Я как-то во всё это не мог вникнуть, да мне ничего и не “светило”. Бери, что дают, вот и всё. А давали, чтобы как раз на жизнь хватало и оставалось чуть-чуть...

Знание того, что напряжённо, азартно работать легче, чем спустя рукава, так на всю жизнь и осталось и помогало в самых разных ситуациях. Тоска вялой работы была хуже всего, вот её и надо было перебивать. Если же работа случалась коллективная, то я и тут напряжёнку-азарт старался включить, но поддержку не часто получал. Недоумение и раздражение гораздо чаще.

Получку давали (странное выражение, но говорили именно так) в заводоуправлении. В длинном, мрачном, тёмно-зелёной краской покрашенном коридоре с окошком кассы в конце. Очередь бывала длиннейшая, мрачно-озабоченная. Тут уж не подходили, как в столовой, не втискивались друзья-приятели. Слишком для этого дело было серьёзное.

* * *

В октябрьские праздники на демонстрацию мы не пошли, лишь побродили по улицам ближайшим. На удивление много было похожего с тем, что бывало в Тиму. Те же мужики хмельные, то с жёнами, то в одиночку, те же компании небольшие с гармошкой в центре, с песнями и плясками. И песни-пляски те же, и одежда примерно такая же. Потому, конечно, что народ тут был недавно в город приехавший и не потерявший ещё своих районных и сельских привычек.

Пришли к Гололобовым (по предварительному приглашению) и просидели рядом на диване часа два: ждали Виктора с демонстрации. Жуткое было томление голодное, и Ефросинья Степановна, хозяйка, мать Виктора, сочувствуя, собиралась уже нам еду подать. Но тут Виктор заявился: весёлый, руки потирающий от предвкушения праздничного застолья. Он прозяб как-то очень хорошо, вкусно и доволен был делом сделанным, потому что отбыть демонстрацию делом и считалось.

Тут-то мы с Генкой первый раз в жизни выпили водки. И ничего особенного я так и не почувствовал, обильнейшая еда, видать, хмель заглушила. Вспомнилась вообще первая выпивка (вермут в Тиму, в десятом классе), вот тогда действовало удивительно. Выпил, зажевал чем-то пустяковым, и так вдруг стало необыкновенно хорошо. Это испугало даже: получалось, что для прекрасного самочувствия всего-навсего выпить надо. Получалось, пей тогда и пей. Вот в этой простоте как раз нечто страшноватое и было, и оправдалось потом вполне.

А в демонстрациях много раз пришлось поневоле поучаствовать, и почти всегда бывало очень даже неплохо. Среди своих потолкаться на воле, протозейничать, подурачиться, выпить в меру, в конце концов. Один раз, в Калуге уже, колонна наша проходила мимо ресторана “Ока”, настезь призывно открытого. Многие и забегали, не раздеваясь, чтобы хлопнуть “соточку” у длинных, составленных столов. Аркадские такие были времена. Одно было неприятно: нести транспаранты или портреты, которые всучивали почти силой, и стыд, который неизменно ощущался перед трибуной с начальниками. Крик-приветствие диктора, бодрое до фальши, и ответ раздробленно-жалкий. А начальники всё такие же из года в год — в чёрных шляпах и чёрных плащах или, в особенный холод, в каракуле на плечах и головах. И правой рукой они помахивали проходящему народу как-то всегда одинаково, будто “нет, нет, не подходи!” имели в виду.

* * *

В воскресенье изредка ездили в центр города, в кино. Сама езда была чудесной, особенно если удавалось сесть, да ещё к окну. Целое часовое путешествие получалось.

Трамвай скрипел, громыхал, постукивал мерно колесами, качался и дёргался, а за окном тянулась наша окраина, завод синтетического каучука, со сливом горячей, парящей на холоде воды, в которой барахтались люди даже и зимой, целебной её считая. Да и пованивала она вроде бы целебно, сероводородом. Вспоминался рассказ друга нашего Виктора, что директор завода — чистокровный цыган Сербулов — и что время от времени приезжает к нему погостить целый цыганский табор. Это как-то даже и вообразить себе не удавалось, зная таборы эти ещё по Тиму. И там-то они не к месту были, а тут город, завод! Потом была река, мост через неё могучий и сразу за мостом — ТЭЦ с четырьмя громадными трубами, из которых дымились всегда только три. Центр города напелзнул понемногу увеличением домов. Вот двухэтажки пошли, небольшие и странные, с пузатыми, нелепыми колоннами перед входом. Потом такие я и в Калуге встретил: типовой, видно, был проект. Как бы дворцы такие для простых, рабочих людей. “Дворцовость” колонны и должны были этим домам придавать. А вот и парк, “ЖИМом” в народе именуемый. ЖИМ — значит, парк живых и мёртвых, потому что

на месте снесённого кладбища был разбит. Это тогда широко было принято, власть как-то стеснялась кладбищ (да и вообще, пожалуй, смерти) и была к ним безжалостна. И танцплощадка была в этом парке с хулиганской, бандитской славой. Совсем уже в центре строительный институт показывался, в котором учился наш парень из параллельного класса Лёнька Берлизев. Этот факт как-то согревал для меня огромное здание института, своим почти делал. Мы даже подумывали, не найти ли Лёньку, и однажды, сами студентами уже будучи, нашли.

Главный кинотеатр города был “Спартак” — новый, большой, с колоннами, любили их тогда. Очередь там всегдашняя, в которой тоже приятно было постоять-потолкаться. Приходили обычно пораньше, чтобы полчасовой примерно концерт в фойе послушать, в буфет сходить, мороженого-пирожного поесть. Певец в ту пору был Анатолий Иголкин, бойкий такой, голосистый, чернявый молодец. Пел особенно лихо тогдашний шлягер “Мишку”. Публика и повтора добивалась, крича: “Мишку, ещё Мишку!” Приятная была песенка: “Мишка, Мишка, где твоя улыбка, // полная задора и огня? // Самая нелепая ошибка, Мишка, — // то, что ты уходишь от меня”. Ну, и так далее. Критиковали, конечно, эту песенку по радио и в газетах за так называемую безыдейность. Как и славные “Ландыши”. “Ландыши, ландыши, светлого мая привет...” Чем-то они были похожи по тексту и по мелодии, и теперь изредка поются.

В первое же посещение кинотеатра я съел два с половиной пирожных (не смог доест) и наелся надолго. Хороший метод отучить себя от какой-нибудь еды. Разве что с хлебом и картошкой не получится.

Фильмов, которые мы смотрели, совершенно не помню. Ни одного. Уж очень идейное всё, наверное, было, не в пример песенкам.

* * *

Виктор Гололобов, наш воронежский покровитель и даже старший друг, был большим любителем театра. По его приглашению-настоянию мы и пошли с ним аж на балет, приехавший откуда-то на гастроли. И билеты оказались в первый ряд (Виктор покупал). Я подозревал, что дело это скучное, но оказалось всё ещё хуже. Видеть танцы с близкого расстояния было неприятно до злой какой-то тоски. Эти трико натянутые и просвечивающие на коленях и задах танцовщиков, этот пот, блестящий на лицах и летевающий брызгами с волос, эта даже пыль от прыжков тяжёлых с плохо вымытого пола. Бессмысленным всё казалось, дурацким и никому не нужным. Какой был балет, не помню, помню лишь удивление аплодисментами, раздававшимися время от времени. Виктор аплодировал рьяно, и я тоже начал уже похлопывать, чтобы его не обидеть. И сам себя от этого стыдился. И думал, как бы оправдываясь, что подальше надо было сидеть, издалека всё видеть, чтобы принять условность балетную. Да и вообще в жизни нечто похожее бывает, хоть с событиями, хоть с людьми: не смотри в упор, отойди подальше. По пословице: за деревьями леса не видно.

Принять условность балета и оперы — важнейшее дело. Не сумел — не смотри, не слушай. Гоголевский “Нос”, скажем: ну, какой тут может быть балет? А ведь Некрошос поставил, и прекрасно получилось. Вот теперь оперу по “Мёртвым душам” кто-то ставит. Непредставимы арии Чичикова или Плюшкина — и всё-таки возможны. Талант всё может или почти всё...

Затащил нас Виктор и на каток, который очень любил. И тут оказалось не лучше, чем в театре. Он катался на беговых коньках, “ножах”, по-тогдашнему, а мы взяли напрокат хоккейного типа коньки, “дутьши”, хорошо знакомые по Тиму. Скучно было. Виктор гонял по кругу, согнувшись по-спортивному, а мы, впервые в ботинках, толком и на ногах-то не держались. И голеноstöпы начинали болеть быстро, и приходилось выходить в снег обочины, чтобы они отдохнули. А я ещё и девушку с ног сбил, испугался, попытался помочь ей встать, но она вскочила сама, посмотрела презрительно и убежала. Так каток потом и не привился, а были они тогда в большой

моде. Даже аллеи скверов центральных под катки заливали. Всё на катках было хорошо: девушки румяные, музыка, раздевалка, буфет с кофе молочным и булочками. Всё, кроме самого катанья унылого. Впрочем, может, я к ботинкам так и не привык. В Тиму-то коньки к валенкам привязывались, и вот на них мы чудеса геройства проделывали, с гор по дорогам заледенелым гоняли....

А вот песенки были очень милы, особенно одна, совершенно “катковая”. “Догони, догони”, — // ты лукаво кричишь мне в ответ”, — такие были в ней слова, задорно так поющиеся. А к концу песни грусть элегическая, ко всей как бы жизни относящаяся: “Много дальних и трудных дорог // я прошёл за любовью твоей...” И странное у меня раздражение было при этих словах: “Ну, и не ходил бы, нечего было к человеку приставать!”

Последний раз в жизни был на катке, уже институт заканчивая. Встретил школьниц с коньками подмышками, вспомнил Есенина: “По ночам, прижавшись к изголовью, // вижу я, как сильного врага, // что чужая юность брызжет новью // на мои поляны и луга”. И усмехнулся над собой иронически, и правду для себя в этих словах разглядел. А через много лет у Твардовского встретил: “И едва ль не впервые ощутил я в душе, // что не мы молодые, а другие уже...” Да и каждого эта мысль-чувство, наверное, посещает, раньше ли, позже ли...

* * *

Увидели с Генкой афишу: “Вольф Мессинг. Психологические опыты”. Само имя поразило, было в нём что-то особенное, таинственно-чудесное. И решили пойти.

Мессинг и по виду оказался в полном соответствии со своим именем: встретишь на улице и удивишься, и оглянешься потом. Лицо равномерно красноватое, с крупными, рублеными морщинами, седые волосы курчавые, дыбом стоящие над огромным лбом, выражение лица завораживающе непроницаемое. И руки красноватые, как и лицо, длиннопалые, и костюм какой-то необычный, и бабочка под подбородком, впервые мной увиденная. Сразу подумалось, что особенной совсем породы человек, волшебник.

Опыты были в основном по нахождению спрятанных предметов и угадыванию желаний. Мессинг, держа за руку кого-нибудь из зрителей, ходил рыскал по рядам с повадкой вынюхивающей добычу собаки. И находил, и угадывал всё, что надо было. И не ошибся ни разу.

Потом вопросы к нему были в виде записочек. И один я даже запомнил по смеху дружному в зале: “Как вы дошли до жизни такой?”

Когда всё закончилось, главным было то, что видел вот такого человека, Вольфа Мессинга, живьём, а сами опыты казались просто любопытны, не более. Уверенность из-за воспитания сугубо материалистического была, что всё это имеет свое нехитрое объяснение, как всякий фокус.

Видел живьём... Вот и сэра Пола Маккартни тысячи людей пришли увидеть на концерте на Красной площади “живьём”... Ну, и что они увидели из задних и даже средних рядов — фигурку маленькую? Зато на огромном экране рядом с эстрадой Маккартни был — вот он, со всеми деталями малейшими. Так зачем было сюда, на площадь, тащиться? А всё затем же — увидеть, хоть и издали, живьём. И, главное, иметь возможность рассказать об этом.

* * *

Хорошо было выйти из цеха ночью, вольным воздухом подышать, отлить в сторонке, на звёзды посмотреть мелкие, ослабленные заводской, электрической подсветкой. Морозец поздней осени недро так прохватывал. И неожиданно казалось приятным, удовлетворение некое дающим то, что вот все, почти все спят, а я работаю, словно выигрыш какой-то перед другими имею. И писание потом ночное, у меня в общем-то редкое, похожее чувство рождало.

Необъяснимо, что вдруг, невесть почему, вспоминаешь именно вот это. Или другое что-нибудь. Выходы эти ночные из цеха ярко и неожиданно вдруг вспомнились, а уборную в цеху совершенно не помню, хотя не могло же её не быть? Коробка какая-нибудь бетонная, серая, вонючая, могильная, которую память если и записала, но выдать не хочет...

У цеха были штабеля целые заготовок — болванки, пруты многогранные, и пахли не только металлом, но, казалось, той работой, которая вскоре будет над ними проделана. И запах для меня был приятный, как и потом, всю жизнь вообще запах и вид металла. А когда в девяностые годы пришлось повидать бывшие машинные дворы бывших колхозов и совхозов, то чудилось, что это не просто трактора и комбайны, до скелетов раскуроченные, не груды металлолома, а кладбища работы громадной, ночей бессонных заводских...

* * *

Вот на левой руке, на кончиках пальцев, среднем и безымянном, две отметины. Одну лет в десять получил, когда мы с дядькой моим, Николаем Панюковым, тележку из аптечного подвала вывозили-вытаскивали. Он спереди тащил, а я сзади подгалкивал. Для забавы какой-то её доставали, кататься, скорей всего. Николай был лет на десять всего меня старше, и я долго-долго его за брата старшего считал, а не за дядьку. Дружили с ним и даже, по моему, любили друг друга. И позабавить меня он всегда был готов, в игре какой-нибудь поучаствовать.

Тащим тележку нутужно, и она вдруг из рук его вырвалась и — колесом палец мой к притолоке дверной притиснула! И расплющила его...

Потом больница была, находившаяся рядом, хирург Ищенко, лечение-бинтование и возвращение домой с очень толсто забинтованной рукой. После испуга и боли хорошо помню странную гордость тем, что рука у меня так толсто, плотно, красиво даже забинтована, словно я не пацан простой, а солдат раненый. Тут и матушка подыграла: попричитала надо мной, а на Николая покричала возмущённо и укоризненно. Он же виноватым выглядел, и видеть это было как-то нехорошо, непривычно. Я за него и вступился: не нарочно же он...

А на пальце рядом, на среднем, выемка у самого ногтя, на заводе уже полученная. Затачивал отрезной резец, он соскользнул, и палец в точильный камень ткнулся. Помню удивление, с которым на миг увидел в отдёрнутом пальце белое пятно, и страх от догадки, что это кость белеется, до кости проточил. И кровь не сразу появилась и пошла сначала скудно.

Зажав палец другой рукой, побрёл в медпункт. Заглянул и увидел двух разговаривающих тёток в белых халатах, одна из которых рукой махнула: подожди!

Жду, болит сильно, а тётки, слышно через неприкрытую дверь, болтают о чём-то житейском. Это возмутило, вошёл, на раздражённый взгляд одной из тёток натолкнулся. “Ну, чего у тебя?” — спросила. Приподнял перед собой зажатый палец с кровью, капающей уже. Стала перевязывать, разговор прежний продолжая. Перевязала и бросила: “Всё, иди!” А я всё сидел, представляя работу у станка с такой замотанной рукой и с болью, которая странно усиливалась. Рукоятки станка крутить, заготовки ставить, снимать, измерять всё микрометром... “Работать не смогу”, — сказал. “Кем работаешь?” — “Токарем”. Выписала какую-то синюю бумажку (первый больничный в жизни), сунула угрюмо: “На!”

Хорошо помню, что меня всё это оскорбило не то, чтобы невнимательным (не надо мне его, внимания), а именно хамским каким-то отношением. Уж никак тимской жизнью я не избалован был, а всё равно достало. Неужели, подумал, попросту, по-человечески обойтись нельзя было? Ничего же не требуется, кроме человеческого голоса и выражения лица. Хамство беспричинное, не замечаемое даже, впервые это отметилась тогда...

* * *

Зима выдалась морозная, многоснежная, метельная, ядрёная, крутая. Ходили в ватниках, называя их по-тимскому фуфайками, да другой зимней одежды никогда и не нашивали. Надевали мы их прямо на рабочие комбинезоны, хотя можно было и переодеваться в цеху, что большинство работяг и делало. Вообще, устроить свой быт хоть как-то поудобнее и в голову не приходило. Да неудобства или не замечались, или представлялись неизбежными, необходимыми почти.

Ощущение глухой глубины зимы хорошо помню. Идёшь через заснеженное, огромное поле, и не верится, что ты в городе большом живёшь-работаешь. Лишь завод, вдали темнеющий, об этом напоминает. Холодно было в такой одежонке ходить, да и работать тоже, пока за работой не согреешься. На трамвае на завод я ездил только в третью смену. И так он скрипел-вибрировал по-морозному, по-зимнему на ходу.

А вот дома была банная какая-то жара-духота. Там мы и отогревались вполне, на кроватях валяясь. Странно, что, будучи заядлым книголюбом, никаких книг, кроме “Материализма и эмпириокритицизма”, не помню. А может, их и не было. Может, я решил, что, пока всей мудрости этой великой, в чём я уверен был, книги не постигну, больше ничего и не читать. Ну, и постигал, и рад бывал, если вдруг оказывалась понятной целая страница или две.

Понимаю теперь, что и желание моё стать писателем, неизвестно откуда возникшее, тоже с требованием, усилием души понять нечто самое главное в жизни и мире было как-то связано. Писатели же в этом являлись тогда основными авторитетами, великие писатели...

Вообще то, что я испытывал в ту пору, духовной жаждой, требующей утоления, вполне можно назвать. И у людей с художественной закваской она именно через работу творческую утоляется, являющуюся, в сущности, молитвой, путём к вере и Богу, если даже человек атеистом себя считает, как я тогда.

* * *

Случались в жизни события, которых, казалось бы, ну никак не должно быть. Вот и это из таких. Воронеж, глубина зимы вьюжной, погружённость в заводскую работу, оторванность от дома резкая, до ощущения — да есть ли он на свете, этот дом? Вечер, валяемся с Генкой в своей каморке на кроватях. Стук в дверь, и на пороге — Галка Ишкова. Как мы внешне прореагировали, не вспомню теперь, а вот чувство, когда она появилась, вполне помнится: не может быть! И желание отмахнуться, отвернуться, как от обманки дурацкой, привидения какого-то.

Было нас трое в классе, лучших учеников, одного, примерно, уровня. Да и в школе, может быть, потому что мы с Галкой только медали и получили. И называли нас учителя как-то привычно подряд: Ишкова, Овцынов, Убогий. Именно в таком порядке. Как хоккейная тройка какая-нибудь. Были мы и равнодушны к этой Галке, однокласснице нашей вечной, с начала самого школьной учёбы. Я слегка, а Генка, пожалуй, и посильнее. И так это неравнодушие некоторое и тянулось из года в год.

Была она невысокая, крепкая, смуглая, черноволосая, кареглазая. Привлекательная, в общем, живая, общительная. Но что-то мешало мне увлечься ею по-настоящему, что даже самого удивляло. Какая-то несовместимость тайная, глубинная, неосознаваемая почти. Впрочем, как потом оказалось лет через двадцать, она этой несовместимости совсем и не испытывала, а даже наоборот.

Встретились мы как-то с дружком школьным Витькой Кукиным в Тиму, он и рассказал. Был в Ленинграде, да и нашёл там эту самую Галку по старой памяти. Работала она преподавателем в Академии медицинской вместе с мужем. Вот Витька и сообщил новость, меня поразившую и как-то

согревшую даже. Она, сказал, тебя любила и до сих пор любит, только о тебе почти и говорили.

Витька был человек склада практического, без всяких залётов идеально-романтических даже в юности. Сидели мы, совершенно трезвые, на дворовой лавочке, в обстановке уныло-бытовой, мусорно-пыльной, и я, при всём изумлении и недоумении, вдруг в это вполне поверил. Есть, значит, в мире и такая любовь, и должно её быть много. Первая это любовь, которая, как известно, не забывается, и у каждого была когда-то...

Оказалось, что Галка, поступившая в Курский мединститут, приехала на лыжные соревнования в Воронеж и нас нашла, узнав адрес в Тиму, у родителей.

Генка сбегал в магазин, вернувшись с бутылкой ликёра, колбасой и консервами. Ликёр Галка лишь пригубила (завтра гонка!), и это как-то особенно мне понравилось: спорт, режим — дело серьёзное. И вообще вся она была как бы в ореоле иной, высшей какой-то жизни: институт, общага, анатомичка, лекции, зачёты да ещё вот и спорт настоящий в придачу. На “зону” приехала, из нескольких городов студенты съехались сюда, в Воронеж. На нас она смотрела со смесью удивления, жалости и сочувствия. Понимала, конечно, что завод — дело не сахарное, но такой камерки со щёбнем вместо пола, видать, не ожидала никак. Камера тюремная, а мы вроде как заключённые в ней.

Ушла она довольно скоро, и до трамвая я провожал её один, без неожиданно сильно захмелевшего Генки. Вернувшись, застал его лёгшим головой на руки, на ящичный наш стол. Рядом тетрадка лежала, и невольно фраза, в ней написанная, в глаза бросилась: “Боже, как она хороша!” Прямо-таки по глазам она меня полоснула. И стыдно стало от невольно подсмотренной тайны. И горечь горькую я почувствовал от мгновенного понимания боли чужой, безнадежной любви...

* * *

Так вот мы и жили — песчинки в глубине города, казавшегося громадным. И было нам, в общем-то, хорошо. Хорошо тем, что главным было не настоящее, а будущее, конечно же, прекрасное, которое наступит уже скоро, вот-вот. Если бы поместить внуков моих в том же, примерно, возрасте в ту жизнь, они бы ужаснулись, пожалуй, восприняв её, как каторгу. Для нас же она была совершенно естественной. Всё нормально, всё путём, как тогда говорили...

Всё хорошо: и остановка трамвая наша “Песчаная”, что-то приятное, родное напоминающая, и названия улиц в нашем районе — Костромская, Курская, Смоленская, — и запах от завода синтетического каучука, сладковатый и чуть от того как бы цветочный, и заводские гудки по утрам, такие разные, с совершенно особенным, родственным уже гудком нашего завода...

* * *

Вышел из дома на работу во вторую смену, закрыл за собой калитку — и дальше полный в памяти провал. Очнулся уже в больнице, и того, что было между калиткой и больницей, так и не смог вспомнить никогда. Называется это по-научному амнезией, и является симптомом сильного сотрясения мозга. Довольно серьёзное дело, вообще говоря...

Следующим после закрываемой калитки воспоминанием было склонённое надо мной женское лицо под белой медицинской шапочкой и вопрос:

— Как зовут?

— Юра...

— Ну, слава Богу! А то всё Лев Толстой да Лев Толстой. Совсем, решила, мозги тебе отшибло...

Да, думаю я теперь, глубоко же во мне идея “писательства” сидела, если такое городил. Реализовывать пришлось, не денешься никуда...

Выяснилось, в конце концов, что нашли меня у подъездной к заводу железнодорожной ветки лежащим на спине с открытыми глазами в состоянии бессознательном. Ну, и отвезли на “скорой” в ближайшую больницу, где я и представился Львом Толстым. Остальное угадывается легко: шёл, очень уж задумчивый, да маневрового паровозика, толкавшего перед собой на медленном ходу вагоны, и не заметил. Вот они меня и сбили очень удачно, в сторону от рельсов отбросили. Удар пришёлся в затылок, и вот тут шапка-ушанка помогла, удар смягчила. Сплошное везение получилось, а вот почему паровоз не остановился, Бог весть. Машинист, скорей всего, не заметил: тоже задумчивым был...

О лежании в больнице и лечении помню очень мало. Разве что настойчивые просьбы отпустить, выписать меня поскорее. Женщина-врач, меня лечившая, сначала и слышать об этом не хотела, повторяя снова и снова, что травма была очень серьёзная, и я просто этого не понимаю. А я чувствовал себя совсем даже не плохо. Ну, слабость была, ну, поташнивало — пустяки! И ведь уломал я её, в конце концов. Вот глаза её жалостливые при выписке хорошо запомнились. Но если жалела, так зачем было и выписывать, думаю я теперь. На больничном, сказала, долго пробудешь. И лечение на дому серьёзное предстоит. Подумала, наверное, что дома мне будет хорошо, удобно, не знала ведь про каморку нашу бомжовскую.

В ней, кстати, я тоже быстро заскучал и на работу выписать попросился. Докторица оказалась уже другая, незнакомая, и тут же это и сделала...

А я и впрямь чувствовал себя почти нормально и до сих пор так и не понимаю, как могло такое быть. Тяжёлая очень травма обошлась совсем легко и ничем потом в жизни себя не проявила. Я и с трамплина, в институте учась, на лыжах прыгал, и слаломом лыжным занимался. А уж эти дела требуют очень крепкой головы. Чудо, да и только! Под старость лет даже об ангеле-хранителе стал подумывать: он, может, всё и устроил?

Матушке, разумеется, быстро сообщили телеграммой о случившемся, со словами: “Попал под поезд”, — как она потом рассказывала. Что она пережила до встречи со мной в больнице, и представить страшно. Саму встречу совсем не помню, потому, может, что уж очень тяжела она была. Вот память её и выбросила...

Тут же и дядя Ваня явился из Пятигорска, и они с матушкой пожили несколько дней у добрейших наших Бурцевых. Дядя Ваня запомнился тем, что руку поцеловал Ефросинье Степановне, хозяйке дома, при встрече и при прощании. И потом, в письме уже благодарственном, написал: “Целую руку”. Вот её потом и дразнили муж с сыном, говоря про него: “Твой поцелуйщик”.

А жизнь наша заводская и иная всякая пошла по-прежнему, словно этого случая железнодорожно-больничного и не бывало. Хорошо умеет юность такое-подобное забывать!

Да, ещё помню, как Генка носил мне в больницу пряники и конфеты в большом количестве, потому, может быть, что в детстве никогда мы этого вволю не едали. Собирали при случае мелочь для покупки ста или двухсот граммов того или иного. На троих...

* * *

Неожиданно как-то явилась весна и словно вытаснула нас за шиворот на свет Божий из зимней полудрёмы. И забота тут же новая и приятная возникла — готовиться к поездке домой на майские праздники. Слово “дом” вспыхнуло вдруг в душе, как большой, многоцветный, многогранный шар, а на гранях чего только не было. Главное: Ирина там была, первая моя любовь, с катанья на лодке в Москве, в зоопарке, вдруг возникшая. Два года последних школьных она длилась, а цела ли теперь, я и сам не мог сказать толком. Очень уж пятигорские и воронежские дела душу перетряхнули.

Поездка и встреча с Ириной приближались понемногу, я вспоминал и ду- мал о ней всё чаще, словно ошупывал в душе что-то важное, и радовался не- уверенно, что, кажется, всё цело. Ну, так это у меня, а у неё как?

Ирина поступила в харьковский мединститут, и я бы вполне мог и адрес её узнать, и письмо написать. Мог, да не мог! Оскорбительное что-то было в том, что она в институте чинно-благородно учится, а я тут то перед стан- ком кручусь, как клоун, то в грязной каморке на кровати проржавевшей ва- ляюсь. Что ж, посмотрим, что встреча наша покажет, ставка очная...

Первая на чужой стороне весна выдалась совершенно чудесной, и я поч- ти всё свободное время в одиноких прогулках по городу проводил. Опьяне- ние такое было весеннее — не то идёшь, не то плывёшь в воздухе густом, между блеском ручьёв и луж на земле, и белыми, редкими, тугими облака- ми на синем небе. А в голове — хмельная кутерьма из мечтаний и воспоми- наний, вперемежку. И Ирина в этой кутерьме мелькала иногда: то крупно, в упор, хоть заговаривай с ней, то в стороне, силуэтом призрачным.

В прогулках, постоянных и многочасовых, я и практическую цель имел: подарки купить матушке и Ирине, и самому принарядиться к празднику и свиданию с Ириной. В том, что она домой, в Тим наш, приедет, был уве- рен совершенно, сам удивляясь своей уверенности.

Иногда заходил в попутные магазины и хорошо помню “Галантерею”, в которой первую покупку сделал, — ридикюль из тиснёной кожи.

В магазине было безлюдно, сумрачно, таинственно даже, и от множест- ва вещей на витринах мерещилось что-то музейное.

До ридикюля я добирался долго и угадал его сразу: вот он, мне нужный! В руках повертел, замком пощёлкал, нутро к носу поднёс: пахло терпко и как-то, мелькнуло, женственно. Правильный матушке подарок, словно подсказал мне кто-то со стороны.

Ридикюль этот уцелел, и недавно под руку мне попался: такой плохонь- кий, жалкий и милый именно этим. Старел, видно, сначала с матушкой, а потом уже и рядом со мной...

В крохотном магазинчике “Головные уборы”, где все стены были заве- шены этими самыми “уборами”, долго выбирал кепку-восьмиклинку подхо- дящего цвета и взял, наконец, какую-то горчичную. В зеркале себе в ней по- нравился: и бодренько, и лихо. Потом была “Одежда” и просторная, модная вискозная рубашка, синяя в белую полоску. Ярko так представилось, как бу- ду идти рядом с Ириной в солнечный майский день, а рубашка будет пузы- риться за спиной под ветерком...

“Спорттовары” поразили обилием не просто знакомых, а родных прямо- таки вещей: лыжи, палки лыжные, коньки отдельно, коньки с ботинками, гири, гантели... Вот именно, что глаза разбегались: так и бродил бы, глазел бы без конца, всё к себе прикидывая. А нужен был рюкзак, непременно с ним, а не с чемоданом хотелось в Тиму появиться — как страннику из дальних краёв.

Рюкзак нашёлся — совершенно чудесный, небольшой, тёмно-зелёный, из толстого, приятно грубого на ощупь брезента. А карманы и карманчики, а застёжки блестящие, а языки застёжек жёлтые! Самым же лучшим был запах — путешествий, дорог, приключений... Да ещё и заграничный был рюкзак, польский, первая для меня такая вещь. Он и показал потом себя прекрасно, десятки походов выдержал, с грузом тяжёлым, ни в чём сла- бинки не дав. Когда же поизносился, состарился, я его всё-таки оставил как ветерана заслуженного и юности свидетеля. Так и висит, есть не просит...

Купил и Ирине подарок: “Дон-Кихота” в суперобложке. И рисунок на книге заранее сделал, по дурашливому какому-то вдохновению: два человек- ка, держащиеся за руки, от них — линия косо вверх, а на самом верху — крестики могильного такого вида. И подписал: “Дорога жизни”. В том смыс- ле, конечно, что мы эту дорогу вдвоём с Ириной дружно и пройдем. Сейчас, вспомнив, и то неловкость ощутил. Какой осёл! Это художество ведь и ма- тушка Ирины наверняка увидела, и сёстры. Что они подумали, легко мож- но представить. Хотя... Хотя, сейчас вот только мелькнуло, художество-то моё сбилось почти! К восьмидесяти мы с Ириной, держась за руки, уже под- ходим. И до крестов рукой подать...

А вот, наконец, и цель долгожданная: Тим, площадь в центре, музыка оглушительная, толпа людская, празднично-пёстрая, кипящая движением, говором, смехом. Позднее утро, как праздничный подарок, — и солнце сияет, и небо сияет, и зелень на земле первая, нежнейшая, сияет тоже...

— Юрка, стой! — бьёт кто-то сзади по плечу.

Оборачиваюсь — одноклассник, первый меня на подходе к толпе заметивший. Ни фамилии, ни имени уже и не вспомню, а вот прозвище помнится всю жизнь: “Кысюка”. Самое странное прозвище, которое вообще слышать пришлось. И не поймёшь, какое оно: то ли обидное, то ли ласковое даже.

Долго жмём руки, друг друга оглядывая, и я чувствую с удовлетворением, какая у меня кисть стала сильная, твёрдая. Станочек помог.

— Ну, и морда у тебя, — говорит, наконец, Кысюка. — Хоть ценят бей!

Грубовато, конечно, сказано, но мне понравилось. Польщён даже был — впрок, значит, пошла заводская жизнь и работа...

А вот мелькнуло в толпе что-то неясное, но совсем особенное и заставило вздрогнуть. Рука, платяя кусок... Ирина. А вот и вся почти показалась, и я сделал к ней несколько шагов и замер невольно. Потом понял: со стороны на неё захотелось посмотреть после долгой такой разлуки. Ну, и посмотрел, и увидел вдруг то, о чём догадывался давно и смутно, но вполне не осознавал. Красавицей она была, вот что! И не только для меня, влюблённого, но вот именно, что для всех. И все это видели, конечно. Это и восхитило, но и встревожило тут же. Как жила она там, в своём Харькове, в своём институте, красавица моя? Да и моя ли теперь?

Я зашагал к ней решительно, протолкался уже вплотную, и по тому, как вспыхнуло её вдруг повернутое и приподнятое ко мне лицо, почувствовал с мгновенным облегчением: моя!

— Привет!

— Привет!

Стоим и молчим, в глаза друг другу смотрим. Ну, рукой её за плечо чуть тронул, сам того не заметив почти. И всё. Стоим и молчим. И говорить не надо, лучше смотреть. Тут свой разговор, он и точней, он и глубже. И легче, сам собой идёт, без нашего как бы участия. И далеко уже зашёл, а прошла, может, минута всего.

— Привет, привет!

А это сестра Ирины Галя с мужем и маленькой дочкой подошла. Тут уж и разговор общий пошёл-поехал, разрастаясь и оживляясь всё больше. И от этого мне, да и Ирине, кажется, и свободнее, и легче. Но и скучней. Нам бы вновь вдвоём постоять, помолчать, посмотреть друг на друга...

Кончается тем, что нам дают девочку Наташу, чтобы мы её к бабушке, матери Гали и Ирины, отвели. Смысл такого похода меня не интересует совершенно. Мне лишь бы с Ириной быть. И девчужка не помеха, славная такая, живая. Да и сбудем же мы её, в конце концов, с рук...

Идти далеко, через добрую половину Тима, потом по крутой горе, по тропе широкой вниз, к речке и мосту, а потом ещё и по сельской улице. Я несу Наташу то на одном плече, то на другом, то на “закорках”, и это ей, похоже, нравится. Ей года три, она легонькая и говорит почти без умолку. Приятно нам с ней: и между собой можно поговорить накоротке, на ходу, кусочками, что делает разговор особенно непринуждённым, и с Наташей словом перекинуться.

Хорошо идти: и солнце, и тепло, и ветерок новую мою рубашку за спиной пузырьком надувает, как мечталось при её покупке.

Я устаю Наташу нести, пробежаться её пускаю, и она делает это вполне умело, ноги так и мельтешат...

Тим кончился, проходим стадион футбольный с одними только воротами, а дальше — даль дальняя километров на пять, до Липового леса. И сельская улица отсюда, как на ладони, и дом Ирины, совсем для меня особенный, с высоким крыльцом, с навесом над ним, с голубым, ярким на солнце коридором. Сколько раз за два года я вот так вот его видел вдруг, чуть волнуясь даже. Пусть не Ирина, но ведь дом-то её!

Медленно спускаемся к речке и мосту, отдыхаем, стоим у перил, глядя на воду. И я думаю, чувствую вдруг, держа руку на пушистой, тёплой голове Наташи, что она ведь родная племянница Ирины. И ещё думаю вслед, что и у нас с ней может быть когда-нибудь ребёнок. А почему нет? Пусть парень будет, но девица тоже годится...

А когда совсем уж дом Ирины близок, я чувствую, что эта прогулка с Наташей как-то сильно и странно сблизила нас, породнила как бы...

* * *

Вечером сидели вдвоём высоко над речкой, на земляном уступе, удобном, как диван. Речка тускло поблёскивала и поплёскивала в сумерках, за ней ивняк приречной шёл, а дальше и Ирины дом угадывался. За спиной было кладбище. Хорошее, безлюдное местечко, "наше", обжитое уже за два года. Я и рисунок свой дурацкий на книге, Ирине подаренной, сделал, кладбище это вдруг вспомнив, скорей всего...

Говорили мало, так, кое-что из её харьковской и моей воронежской жизни. Обнимались, в основном, как и быть должно. Удивительное в своём постоянстве тяготение друг к другу у нас оказалось, продержавшееся почти без заминок и сбоев всю долгую-долгую жизнь. Даже ссоры крупные его не гасили по-настоящему. Теперь нечто подобное называют "химией", и мне это не по нраву. Грубо и примитивно. Чудо это по сугубой избранныости, прочности и долголетию. Бог дал...

Я был настойчив, а Ирина придерживала меня как-то очень мягко, но непреклонно. И я смирялся с некоторым даже удовлетворением и пониманием, что это правильно, как и следует быть. А понимание было в том, что надо её, Ирину мою, беречь. Для кого? А для самого себя...

Много лет спустя прочитал у Твардовского: "Смерть грохочет в перепонках, // и далёк, далёк, далёк // вечер тот, и та девчонка, // что любил ты и берёг". Вот и тут, уверен, тот же самый смысл: для себя и берёг. А она должна была беречь себя для него, так выходило... Выходило, выходило, да и ушло, кажется, из жизни совсем и навсегда. Или вдруг ещё живёт-держится у кого-то?

Поздняя луна начинает проступать сквозь хмарь туманную, и я провожаю Ирину до дома. У крыльца стоим, греясь общим теплом, пока она не начинает отстраняться мягко. Я отпускаю её, наконец, и разрыв так ощущаю, слышен почти...

Луна прояснилась, и можно уже бежать по улице короткой, по дощатому мосту, а потом по извилистой, широкой тропе вверх, чувствуя, как ощущаю теплое и подсыхает воздух...

Второй, прощальный уже вечер прошёл примерно так же, как и первый. Только вот мысль о том, что он прощальный, промелькивала порой, и от этого нехорошо щемило сердце. И догадка являлась смутная, что всё у нас с Ириной не к концу идёт, а, может быть, только начинается по-настоящему. И непонятно было, почему так, ведь и по городам разным жить мы разъехались, и встречаться будем редко теперь. Было в этой догадке что-то от чувства судьбы, выбора какого-то высшего, который не изменить...

* * *

Надо было с завода увольняться. Сначала заявление подать, а потом две недели по закону ещё отработать. Отрабатывал я их в настроении весёлом, лёгком. А в последний день вдруг почувствовал, что расставаться с заводом навсегда мне вдруг стало жаль. И всё неприятное, тяжёлое, что было для меня за время работы, неожиданно повернулось иной, обратной как бы стороной. Тяжело, но ведь и интересно, свежо, ново...

Прошёлся, праздно уже, по территории заводской с этим сожалением, пусть и лёгким, но несомненным. В свой цех зашёл, и чем-то уже близким,

родственным на меня пахнуло. С людьми знакомыми попрощался. И тут, конечно, Николай, учитель и наставник мой по делу токарному, резче всех запомнился. Тиснул руку до боли и сказал особенно как-то напористо и твёрдо: “Давай, не робей, жми до горы!”

Вообще же говоря, наша жизнь заводская, когда её вспоминаешь, чем-то похожа была на то, как в тимской нашей ребячьей гурьбе большие пацаны маленьких плавать учили. Выбирали удобное место на берегу речки, чтобы в случае нужды помочь можно было, ловили какого-нибудь подходящего мальчика, плавать уже понемногу пытавшегося, хватали за руки-ноги, раскачивали широко — и в воду на глубину бросали. А потом смотрели, как он, с лицом совершенно безумным от страха, барахтался, понемногу на мелкое место выбираясь. И ведь помогало! Через день-другой, глядишь, уже плывёт малец самостоятельно, “по-собачьи” руками загребая. И рожица у него такая счастливая...

А когда дома с Генкой прощался, уезжая в Тим, то такое сочувствие острое к нему испытал! И чувство вины шевельнулось. Приехали вместе, а теперь остаётся он один. Умом я вины своей не находил, а душа своё говорила: виноват... И эта вина так на мне и осталась. И Генки давно нет на свете — а вина всё жива...

Потом, через много лет, когда приходилось бывать на заводах, всё заводское, хоть и сильно уже отличавшееся от того, давнего, юношеского, всё равно отзывалось в душе горько-сладкой такой болью. И в цехах, с людьми их, запахами и звуками, и в столовых заводских особенно. Иные по виду они были, и еда была иной, но в глубине, в основе своей всё той же. Из зимы, такой давней, из столовой нашей, такой затрапезной и такой любимой. И бег к ней азартный, наперегонки в обеденный перерыв, вспоминался, как бывший позавчера...

Постоял через много-много лет и около дома-домика, в котором жили с Генкой. Ни в улице, ни в домике совершенно ничего не изменилось. Даже калитка, казалось, была та самая, которую я закрыл за собой перед встречей с маневровым паровозом. Может, и в комнатухе нашей вместо пола дощатого по-прежнему щебёнка? Это мелькнуло в шутку, а чуть и всерьёз... Очень хотелось зайти, но не зашёл. Мёртвых с кладбища не носят — есть такая поговорка.

* * *

Два месяца в Тиму, которые были у меня для подготовки к вступительным в институт экзаменам, удались чудесно. Я быстро вошёл в тот, хорошо уже освоенный раньше метод полного погружения в учёбу с головой и со всеми потрохами. И зажил совершенно особенной, напряжённо-интересной жизнью. Это было похоже на освоение, хоть уже и не нового, но не до конца, не до самого дна изученного пространства.

Готовился по билетам, и в каждый новый билет входил, как в комнату знакомую, чтобы теперь рассмотреть, изучить, освоить её до мелочей. Так, что если бы она вдруг оказалась тёмной, то можно было бы свободно ходить по ней наощупь, по запаху и даже как-то по вкусу.

Оказалось, к счастью, что помню я из школьной экзаменационной программы очень многое, едва ли не всё. Интересно было, прочитав вопрос из билета, посидеть тихо и спокойно, терпеливо ожидая, как в памяти из тёмной её глубины начинает всплывать ответ, медленно, разрозненными и затуманенными сначала кусками, которые становятся всё ясней, всё определённой, тянутся как-то друг к другу, формируя без моего вроде бы даже участия ответ. Сначала он был рыхлым, размытым по краям, но понемногу обозначался всё определённое.

А вот уже и отвечать на вопрос можно было, и я, то про себя, то вслух, проговаривал ответ снова и снова, добываясь возможной ясности и полноты. Случались, и нередко, провалы и пустоты, которые приходилось заполнять, обращаясь к учебнику или к своим же записям, сделанным год назад.

Вот так я и работал с каждым вопросом до тех пор, пока ответ не выстраивался в памяти ясно, полно и даже, казалось, стройно. Иногда задавал сам себе дополнительные вопросы с эдакой хитрецей, подковыркой и отвечал уверенно и на них. Вполне отработанным ответ воспринимался, когда я знал, чувствовал его полногу. Вопрос как-то сближался, сливался с ответом, и это общее пространство просматривалось насквозь. Вдоль и поперёк, как говорится...

Занимался я за столом, покрытым белой с узорами скатертью, а иногда, в жаркие особенно дни, забирался и под стол — там казалось прохладнее. И детство, раннее, конечно, хоть на миг вспоминалось и даже чувствовалось, такое безмерно далёкое...

Однажды лежу под столом на животе, учебник читаю и вдруг, подняв глаза, вижу прямо перед собой, впритык почти, загорелые женские ноги. Ага, Галя Заремба зашла, квартирантка, жившая у нас в доме, пока я в Воронеже пребывал. Недолго думая, я и цапнул её за лодыжки. Раздался визг нечеловеческой какой-то силы и дикости...

А Галя чудесная была девица, на два года раньше меня школу кончила и работала кем-то в нашей районной больнице. Мы с ней и подружались, вполне как-то бесполо, как брат с сестрой. Была она высокой, смуглой, худой, угловатой. Стоит как-то перед зеркалом в дверце шифоньера и внимательно себя рассматривает. Наконец говорит горестно, хлопнув себя ладонями по бёдрам:

— Эх, на окорочка бы добавить!

Я хохотал до упаду, то есть буквально по полу катался. И вот до сих эти её “окорочка” помню. Где-то она теперь, Галя Заремба? И с “окорочками” как у неё дела?

Учебная работа моя продолжалась часа четыре, после чего я бежал на пруд. В этом году его заполнили водой, починив, наконец, плотину, когда трава по берегам речки, на лугу огромная стояла, в полный свой рост и силу. Вода была чистейшая, и казалось странно, диковато как-то нырять и плыть потом среди высокой, густой травы. Джунгли заморские мерещились из фильма “Тарзан”...

Долгое такое плавание чудесно освежало не только тело, но и душу. Казалось, что ты путешествие далёкое нежданно-негаданно совершил.

Потом я обедал с матушкой, совершенно счастливой оттого, что все пятигорско-воронежские ужасы кончились и я, наконец, вот он, рукой подать...

После большой еды спал часок, потом ещё немного учёбой занимался, а там шло уже время вечернее, прогулка в парк, к танцплощадке, где можно было посидеть на лавочке, на людей посмотреть, музыку послушать. Зайти же на самую танцплощадку да ещё и потанцевать мне и в голову не приходило. Уж очень чуждым это было той жизни аскетически-рабочей, которой я в эту пору жил. Да и людей я по возможности сторонился, мешали они настроенности моей целевой. И расспросы их были порой несносны: что, да как, да почему? Например: под поезд попал, а цел вроде был... Как же это?

Если погода была прохладной, я и в кино захаживал порой, и всегда хотелось посмотреть что-нибудь занимательно-приключенческое, из детства, “Графа Монте-Кристо”, например...

Так вот и шли дни за днями, однообразные, один в один. И мне было приятно это чёткое чередование напряжения работы и расслабленности отдыха потом. Казалось даже, что жить так можно долго-долго, чуть ли не всегда. Да это, в сущности, и получилось в самой своей основе. И хорошо, и правильно, и как же иначе?

Перед отъездом в Воронеж я уверенно чувствовал, что в пределах экзаменационных билетов знаю всё, именно так, как ни странно. И что я набит этими знаниями до отказа, по горло. Мелькало даже, что если очень сильное и резкое движение сделать, то знания мои так из меня и посыплутся, как из мешка. Или, уже с ухмылкой, с насмешкой над собой: если пинок под зад хороший получить...

Первым экзаменом было сочинение, и тут главная задача моя была не сделать ошибки в тексте. Запятая какая-нибудь жалкая, не поставленная или лишняя, могла всё дело испортить. Поэтому надо было писать фразами простыми, короткими, а если в написании слова вдруг сомнение возникало, то заменять его другим, близким по смыслу. А в том, что тему сочинения я, как говорили тогда, “раскрою”, сомнений у меня не было.

Эта моя, школьная ещё установка сработала и теперь: в экзаменационном листе, полученном на другой день, стояла “пятёрка”. “Отл.” — так размашисто, крупно, красиво было написано, что я залюбовался прямо-таки. А через несколько дней с волшебной какой-то простотой и лёгкостью я заработал ещё две подобных записи, по физике и химии. Оставался английский, и вот тут-то у меня уверенности твёрдой не было. Не давался он мне в школе, как остальные предметы. Странную какую-то я к нему испытывал неприязнь. И к устной речи, и к грамматике, и к работам письменным. Тошно всегда было за него браться и его учить. К окончанию школы только догадался, что это я неприязнь к учительнице английского, глухую и непонятную, на её предмет переносил.

Мария Филипповна Каменская... Невысокая, полная, большеголовая, с лицом тяжёлым и крупным и редкостно длинной верхней губой. Ну, ещё глаза холодные, “земноводные” какие-то. Молодая, прямо из института её к нам прислали. Не красавица, конечно, но ведь не из-за этого же неприязнь к ней было испытывать? И преподавала она очень даже не плохо. Неприязнь вскоре стала взаимной, как это бывает почти всегда. Откуда такое? Тайна, как и тайна приязни и любви...

Словом, волновался я перед экзаменом по английскому непривычно сильно. Уж очень обидным казалось в самом конце всё дело испортить.

С билетом мне повезло: первый в нём вопрос был о модальных глаголах. Уж их-то я как раз и знал, голубчиков, как облупленных. Ну, и на остальные можно было ответить вполне прилично. Теперь надо было преподавателя, к которому идти, повнимательнее выбрать. А вон к той, молодой и красивой.

Красивой она оказалась и вблизи, а вот молодой не очень. Под тридцать, поуже. Когда встретились взглядами, в её глазах мелькнуло что-то особенное, словно она меня узнала вдруг...

Начал я бодро говорить про модальные глаголы, но она прервала меня через несколько минут, сказав: “Достаточно...”. И оказалось, что это относится не к одним глаголам, но к моему ответу на билет вообще. Потом она черкнула что-то в экзаменационном листке и протянула его мне со словами: “Сегодня же вы будете зачислены в институт...”

И улынулась, как бы этим меня отпуская. И вновь то же выражение, как при встрече взглядами, промелькнуло в её улыбке. А в листке “Отл.” стояло, конечно, четвёртое и последнее...

Когда же началась учёба, она оказалась преподавателем английского в нашей группе. Елена Дмитриевна. Дочь известной актрисы областного драмтеатра, так говорили.

Учёба по английскому была элементарной до тоски и называлась у студентов “сдавать тысячи”. То есть надо было перевести с английского кусок художественного или медицинского текста и потом прочитать его, переводя каждое предложение. А “тысячи” обозначали объём текста в пересчёте на слова.

И вот тут-то и пошла для меня мука мученическая. Засчитывала мне Елена Дмитриевна эти треклятые “тысячи” лишь со второго или третьего захода, а у остальных в группе всё проходило в основном с первого. И я ничего понять не мог, знал английский не хуже других, так откуда же такое? Невзлюбила она меня, что ли, как я когда-то школьную англичанку? Но и на это не было похоже. Даже наоборот. Приветливо и улыбочиво со мной она держалась.

До сих пор помню содержание отрывка из романа Теккерея “Ярмарка тщеславия”, на котором я не выдержал и сорвался. Война, эвакуация мирного

населения из города, семейство буржуазное, которое коляску для отъезда ждёт — не дожждётся...

В третий раз Елена моя (я её уже так про себя называл иронически) сказала с лёгкой улыбкой:

— Незачёт. Ещё придёте.

И я сказал, прокричал даже, что страница книжная с текстом от моих трудов уже истёрлась, просвечивает почти...

Она посмотрела на меня долгим, странным каким-то взглядом, поставила “зачёт” и отпустила меня, молча кивнув. И последующие “тысячи” зачитывала с первого раза, почти меня и не слушая.

Разгадку странной этой истории я нашёл-таки, “вычислил” к концу второго курса из рассказов приятелей. К молоденьким паренькам Елена эта была равнодушна и заводила с ними “отношения”, как теперь говорят. А со мной, выходит, не сложилось по моей же вине. Я даже некоторое сожаление испытал, сообразив всё это. Но тут же и отогнал его: нет, не надо нам такого.

* * *

После экзаменов появились списки принятых, и толкотня напряжённо-драматическая около них возникла. Оказалось, что и Генка был принят со своими девятнадцатью баллами, и я решил про себя, что он меня “обставил”, учитывая заводскую работу до самых экзаменов.

А вскоре состоялось собрание всех принятых на первый курс лечебного факультета в самой большой аудитории, устроенной на два этажа, амфитеатром. Совершенно восхитительным это мне представилось, из старины, древности даже, из Греции самой.

О собрании помню только чтение списка принятых и сказанное после этого, что по 20 экзаменационных баллов набрали двое: Алла Копытина и Юрий Убогий. Тут шумок прошёл по аудитории: реакция на мою фамилию, конечно. А я и радость — уже, казалось, отыгранную — вновь ощутил, и гордость, и странную добавку грусти. Дело сделано, а впереди — шесть лет учёбы и вся остальная жизнь в придачу...